
СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СИБИРИ

Материал подготовлен Тамарой Булевич

Александр Захарченко
(г. Красноярск)



МАРТ — НАЧАЛО ВЁСЕН

Родился в 1941 году в г. Омске. С 1964 года живет в г. Красноярске. Стихи пишет с юных лет. Печатался в газетах: Красноярский рабочий», Красноярская газета», Сегодняшняя газета», «Удачный экспресс», «Литературный Красноярск», в альманахах: «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», «Русло», в коллективных сборниках: «Поэзия на Енисее», «День поэзии Красноярского края», «Посвящение в рыцари», «Момент истины», «Сестры и братья», «Деды и внуки», «Мужская компания», «Скрипичный концерт», «Небесный свод стихов», «Гололедница», «Шаровая молния», «Вольные птицы» и многих других, в журнале «Литература Сибири». Автор поэтических книг: «Любовь и жизнь» (2001 г.), «Капли дождя» (2002 г.), «Катарсис» (2003 г.), «Птица счастья» (2004 г.), «Встреча у крыльца» (2006 г.), «Я — робот» (2009 г.). Руководитель литературного общества «Русло», редактор-составитель альманаха «Русло», член творческого клуба «Московский Парнас». Лауреат премии альманаха «Новый Енисейский литератор» (2007 г.), лауреат премии ассоциации «Интеллект и культура» (2007 г.).

* * *

Март — начало вёсен,
И тепла, и света.
Мне бы пару весел,
Чтоб быстрее в лето.
Мне бы пару крыльев,
Чувства озарений,
Чтоб с небесной синью
Сравнить кусты сирени.
Чтоб сквозь холод зимний,
Вьюги неуютности
Мог вздохнуть я синий
Воздух моей юности.

* * *

Весенний луч
Еще колюч,
Но нет вокруг
Уже тех туч...
И пелены,
Тумана нет.
Струит другой.
Особый свет.

Струится воздух,
Луч дрожит.
Прохлада улицей бежит...
И снег пока еще кружит,
Сверкая отблеском лучей.

И радость из твоих очей
Лучится солнечным лучом,
И в моем сердце горячо,
Ты так близка, как светлый луч.

На Енисей с высоких круч
Хочу смотреть.
Вдыхая даль.
Ты — моя радость и печаль.
Ты — моя нежность, моя грусть.
Моя Сибирь и моя Русь.
Моя Мадонна — свет очей.

В твоих глазах
Весенний луч.
Улыбка, свет
Без темных туч.
И сердце рвется в небеса.
Весна — Природы чудеса!

Праздник Воскресения Христа
Утро... Светом дышит праздник
Воскресения Христа.
Стол... Раскрашенные яйца...
Завершение поста.

Куличи как пирамиды...
И Голгофа, Путь на крест.
Разливается округой
Светлый, чистый благовест.
Разливается округой,
Растворяясь в благодать.
Не хочу свою Россию
Никогда я покидать.

* * *

Хорошо, что больше стало храмов.
Что пришел религий звездный час.
Я, рожденный в вере православной,
Может, возвращаюсь к ней сейчас.

Только не приемлю перекосов
Для страны своей такой судьбы...
Рушится одно... И под откосом
Остаются прошлого столпы.

Но и в настоящем нет утечи...
Хоть и больше злата куполов...
На одеждах бедности прорехи
И порок, берущий свой улов.

Веры больше... И неверья больше...
Главное, так это храм в душе.
Хорошо, что храмов стало больше...
Плохо — нищих все слышней уже...

* * *

Я люблю! И потому внимаю
Каждому дыханию листа.
Как тебя всем сердцем обнимаю,
Принимаю светлый лик Христа.

И душе покоя не желаю
Так же, как и финиша любви.
Чем я старик, тем все меньше знаю
Про предназначения твои...



Зинаида Кузнецова
(г. Зеленогорск)



ЧАЙ ВДВОЕМ

Поэт, прозаик. Член союза российских писателей. Родилась 7 ноября 1945 года в селе Левашовка Аннинского района Воронежской области. С 1966 года живет в городе Зеленогорске Красноярского края (до 1992 года — Красноярск-45).

Публиковаться начала с 1990 года в городской и краевой газетах.

В настоящее время издано семь поэтических сборников: «Настроение», «Ночной звонок», «Медовый август», «Облака», «Память сердца», «Куст калины», «Забывтые острова».

В 1998 году на семинаре молодых писателей в г. Назарово Красноярского края ее рассказы были высоко оценены и рекомендованы к изданию отдельной книжкой. В 1999 году в городской типографии был издан первый сборник рассказов: «Райские яблоки», в 2002 году в издательстве «Кларетианум» (г. Красноярск) — второй: «Болеутоляющее средство». В 2007 году в издательстве «Буква» (Красноярск) вышла в свет книга: «Белый снег — дорожка черная», куда вошли повесть и рассказы.

Стихи и рассказы публиковались в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Енисей» (Красноярск), «Молодая гвардия» (Москва), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), в изданиях Красноярской писательской организации «Послание в вечность», «Какие наши годы», в различных коллективных сборниках: «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Литература Сибири», в Антологии сибирской поэзии и прозы, в журналах «Светлица», «Совершенно открыто», в городских поэтических сборниках «Лесная песня», «С душой наедине», «Симфония чувств», «Серебряный звон»; в «Антологии поэзии закрытых гор», в сборнике «Стихи поэтов закрытых городов и многих других.

Руководитель литературного объединения «Родники». Составитель и редактор городских поэтических сборников, литературной страницы «Созвучие» в городской газете «Панорама». Кроме литературного творчества занимается живописью.

ЧАЙ ВДВОЕМ

За окошком тополь что-то шепчет,
На телеэкране — «Чай вдвоем».
Заварю и я чайку покрепче,
Посидим с подружкой, попьем.

У меня в гостях «Принцесса Нури» —
Фея из заморских дальних стран,
Где не воют ночью злые бури,
Где целует берег океан.

Плачут свечи, медленно сгорая...
Где, принцесса, принц чудесный твой?
В тишину и безмятежность рая
Мы б за ним отправились с тобой...

Дышит ночь волшебным ароматом.
Стынет чай... налью бокал вина...
Нури, ты ни в чем не виновата...
Осень... одиночество... луна...

МОЕ БОГАТСТВО

На доньшке самом
Моих сундуков и копилков,
Как старый Кашей,
Я добро под замком берегу,
Все то, что я так
Терпеливо и долго копила,
И то, что случайно
Роняла туда на бегу.

Там собраны весны
И шорох февральской метели,
Потухшие угли
Горевшего ярко огня,
Живут в сундуках
Соловьиные звонкие трели,
И жгучие тайны
Запрятаны там у меня.

Пылятся в них маски,
Что в жизни порой я носила,
Грустят там надежды
Счастливых моих вечеров,
Подарки судьбы,
О которых ее не просила.
И даже Жар-птица однажды
Туда уронила перо.

Там пахнет туманом,
И лесом,
И скошенным лугом,
И луной поляны
Еще не просохла роса.
Оттуда мне слышится
Голос забытого друга
И многих других,
Дорогих мне людей голоса.

Свои сундуки
Я не часто теперь открываю.
И не потому,

Что не стоит о прошлом тужить.
Но лишь потому,
Что порою я просто не знаю —
А что же сейчас
Я могла бы туда положить?

СЕДЫЕ МАЛЬЧИКИ

В библиотеке, в уютном зальчике,
В углу под пальмою грустит рояль,
Сидят поэты — седые мальчики,
В руках блокнотики, в глазах печаль.

У них в гостях поэт — весьма «раскрученный»,
Какой-то премии лауреат,
И, ранней славою уже измученный,
На всех скучающий бросает взгляд.

Читает юноша про секс уверенно,
Про «телок» — девушек в «стихах» тех нет,
И зал, притихший вдруг, молчит растерянно,
Понять пытается весь этот бред:

А где ж романтика, где чувства светлые?
Где дали синие — мечты полет?
Где о любви большой слова заветные,
Когда от радости душа поет?!

А гость бубнит про драйв да про наркотики,
Про сцены грязные постыдных снов...
И прячут «мальчики» свои блокнотики,
С наивной рифмою «любовь и кровь».

...На сердце муторно. Я в одиночестве
Иду по городу... Ночь хороша.
Но тороплюсь домой — скорее хочется
Взять томик Пушкина...
Болят душа...

БЕГ ВРЕМЕНИ

Опять косыми струйками дождя
Окно, как занавесками, закрыто.
Сидит ворона на руке вождя,
Бежит куда-то песик деловито.

Старушка ковыляет, чуть дыша,
С пустым полиэтиленовым пакетом,
И вместе с нею, тоже не спеша,
Идет Киркоров — на пакете этом.

Проходят мимо, важные на вид,
Ухоженные, с зонтиками дамы.
Но что-то в них такое говорит,
Что пережили дамы в жизни драмы...

А вот, как стайка бойких воробьев,
Бегут девчонки, в шапочках веселых,
Спешат куда-то, видно, после школы,
Щебечут что-то громкое, свое.

Неоновые цифры на табло
Друг друга в бесконечности сменяют.
А девочек мальчишки догоняют —
Наверное, время им любить пришло...

За дымкой запотевшего стекла
Дождь песню монотонно продолжает.
И смотрит время в лица-зеркала,
И лица это время отражают.

* * *

Говорила: «Люблю» — и любила.
Говорила: «Ценю» — и ценила.
Говорила: «Ты мой». Ревновала.
Говорила... Но не признавала.

Ты болеешь — мне вдвое больнее.
Ты страдаешь, а я — сильнее!
Ты не дышишь, и я не дышу,
Я спасти тебя Бога прошу.

Бесконечной и страшной ночью
За окошком кузнечик стрекочет...
Жизни нить так тонка и непрочна.
Ты живи! Я люблю тебя очень.

МОРОЗНО

Все обещают потепленье скоро
Красивые девицы на экране.
Ну, а у нас пока еще за сорок,
И растворились улицы в тумане.

Вновь не сбылись экранные пророчества,
И занавесил окна белый иней,
И стынут во дворах от одиночества,
Как брошенные женщины, машины.

Лишь фонари стоят во тьме геройски,
Их очертанья призрачны и стерты,

И светофор автобусу по-свойски
Вдруг подмигнет на перекрестке
глазом желтым.

ПТИЦЫ

Как пела в садах наших
Птица Любовь,
И нас за собою
Звала в поднебесье!
В ночной тишине,
В пересвисте ветров
Звучали призывные,
Светлые песни.

Как пела в сердцах наших
Птица Любовь —
Восторг и смятенье,
И сладкая мука!
Но вместо нее
Прилетела на зов
И камнем вдруг падала
Птица Разлука.

И птица Измена
Здесь тоже была,
На праздник чужой
Лезла гостьей незваной.
И душу на части
Когтями рвала,
Клевала безжалостно
Свежие раны.

И вечная спутница —
Птица Печаль —
Опять распускала
Крыло вороное.
А птица Надежда,
Манящая вдаль,
Опять навещала нас
Каждой весною.

.....

От стаи большой
Не осталось следа,
Лишь Память одна
Все кружится, кружится...
А следом за стаей,
Не зная, куда,
Летит наша Жизнь —
Быстрокрылая птица.

Михаил Тарковский
(г. Туруханск)

ВЕКОВЕЧНО



Михаил Александрович Тарковский родился в Москве. После окончания пединститута им. Ленина (отделение география-биология) уехал в Туруханский р-н Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Живет там и по сей день.

Первые стихи опубликованы в журнале «Охота и охотничье хозяйство» в конце 80-х годов. В 1986 г. поступил на заочное отделение Литературного Института им. А. М. Горького на семинар поэзии В. Д. Цыбина. В 1991 г. вышла книжка «Стихотворения» с рисунками автора, куда вошли стихи из дипломной работы.

Прозу начал публиковать в журналах с 1995 года. В 1998 г. впервые заявил себя с повестью «Стройка бани» («Таинственная влага жизни»), которая была напечатана в журнале «Наши современники» и отмечена премией журнала. В 2001 г. вышла книга прозы «За пять лет до счастья». В 2003 г. стал финалистом литературной премии Ивана Петровича Белкина 2003 года за повесть «Кондромо». В 2003 г. вышла книга «Замороженное время», которая презентовалась издательством «Андреевский флаг» на Международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне.

В 2003 — 2005 гг. был инициатором и соорганизатором съемок и автором идеи и сценария четырехсерийного документального телефильма с рабочим названием «Енисей-кормилец» («Промысел»), вышедшего в 2008 г. под другим названием и авторством. В фильме использованы кадры из личного видеоархива писателя. Фильм повествует о жизни героев рассказов и повестей писателя — его товарищей — рыбаков-охотников из Бахты.

В 2007 г. в журнале «Октябрь» вышла первая часть повести «Тойота-креста». В 2009 г. — вторая часть. В 2009 г. Новосибирским издательством ИД «Историческое наследие Сибири» выпущена серия прозы из трех книг «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-креста». В 2010 г. стал финалистом премии «Ясная Поляна» за книгу «Замороженное время». В 2011 г. закончил третью часть «Тойоты-кресты», полная версия этой книге готовится к печати во Владивостокском издательстве «Рубеж».

Уже с десятков лет по левому берегу Бирамы охотился Митька Шляхов, худощавый и крепкий парень с правильным, усталым лицом и складчатым шрамом под глазом. Весной по возвращении из района его посреди деревни встретил шебутной дед — дядя Толя Попов, недавно похоронивший жену. Он издали закричал: «Мне тот берег отвели... Убир-р-ай капканья к едерене матери!» Та сторона Бирамы пустовала, Митька относился к ней как к своей собственности, и у него было там четыре дороги, которые теперь предстояло убрать. Возбужденный дядя Толя раз десять повторил, что ему «чужого не надо, но его есть его», а Митька, взбудораженный жгучей и по-

нятной таежной ревностью, ушел домой, зачесал голову и стал «кумекать», представляя Бираму, которую ему никогда не приходилось ни с кем делить и где с каждым камнем и листвению у него были свои отношения.

Митька сидел в любимой позе: поджатая нога, папироса во рту, рука чешет затылок. А сам будто подсмеивается над собой, хотя именно так вот с почесом и с кумеканьем все у него и делалось: обустривалась тайга, ловилась и сдавалась рыба, ставилось сено на двух коров и росло трое ребятишек. Двигался он, словно ему что-то мешало, топтался, свозя шапку, порывисто шевеля всем телом, поводил то плечами, то шеей: колол ли чурку или разгребал разношенным, будто брюхатым, юфтевым броднем снег перед «бураном» на предмет воды — весь расстегнутый, ухо шапки топырится, сзади топор торчит, в зубах папироса. Одевался во сто одежек. Сверху что-то вроде тонкой всегда расстегнутой телогрейки, под ней расстегнутый же азам, под ним истлевшая безрукавка, под ней азам из портяночного сукна, под ним свитер. Все это тряслось карманами, в которых погрозывали спички, отовсюду сыпался табачок, гайки, пульки от тозовки. Собираясь закурить, останавливался, возился, постукивал по карманам, ловил отзывающиеся сквозь бесчисленные слои платья спички, нащупывал портсигар — черную пластмассовую коробочку с надписью «Набор сверел», служившей для товарищей предметом не приедающихся шуток: «Петрович, дай сверло-то!». Сгоревшую спичку засовывал в коробок снизу, так что коробки у него были неряшливо-пухлые, с оттопыренными донцами. Дома курил не переставая, сидел, подоткнув колено на диване, косясь в телевизор, докуривая одну папиросу, уже нащупывал другую, прикуривал всегда не с первой спички, отвлекаясь на разговор и пыхтя. Пылающую спичку пихал в переполненную половинку пивной банки, и та горела костром, а Митька сидел, поджав колено и задумчиво глядя в огонь.

— От, старый пенек! — все качал головой Митька, — от че удумал, есть же участок под боком, а все покой не берет!

Покой Дядю Толю и правда не брал. С годами он как-то все бодрел, и если лет десять назад его звали Инвалидом из-за хромой ноги, то теперь нога прошла, «кляку он свою выбросил» и, снаружи, подсохнув, настоявшись на каких-то экономных стариковских соках, будто навсегда застыл в своих шестидесяти годах. Был остроумен, до предела непоседлив, говорил солидно, басовито, и, сильно сельдюча, гудел эдакой шепелявой трубой. Летом похоронил жену, тетю Феню. Разбитая параличом, она двенадцать лет пролежала пластом на койке.

Едва открывался Енисей, дядя Толя уже петлял между льдин в своей рыжей, ишорканной до оловяного блеска «обухе», с фанеркой вместо половины стекла, про которое мужики говорили: «О-о, Прокопич, стекло у тебя богатейшее!» Носился по сети и, подъезжая к берегу, лихо разворачивался и, метнувшись несколько раз вверх и вниз, проверял нет ли кого чужих. Взвалив мешок, бодро шел на угор, на слова встречного мужика: «Погода налаживается!» — гулко бросал: «Я велел!». А дома снимал ушанку, и под шапкой была потная лысеющая голова с завитками волос и стыдно светящейся кожей. Сидел, переводя дух, на табуретке. Огромные руки, плоские пальцы с выпуклыми, как желуди ногтями, в ушах седые волосы, бритое морщинистое лицо в усах и серые глаза с мутно размытыми краями радужины. Казалось, через заросшие уши, через эти мутные глаза, жизнь должна бы доходить тоже мутной, приглушенной, покосившейся, а жизнь эта что ни день обдавала новой кристальной отчетливостью, и чем мутнее становились эти глаза снаружи, тем яснее и прозрачней гляделось в них из дяди Толиного, сухого и жаркого нутра. На тучу, свинцовую воду и освещенную низким солнцем рыжую поленницу, на едва тронутую ветром пятнистую гладь Енисея, на молодую девку с банкой и гуднувшей в ней мухой, на розоватый в желтых жилах пласт осетрины, мелко дрожащей под слоем соли.

Однажды он, наклонившись попить к минерально-прозрачной бирарминской воде,

увидел на фоне высоких и будто темных облаков свое старое и худое лицо. Вздрыгнув, он перевел взгляд дальше, в речную глубину — лицо растворилось и остались только колыхающиеся огромные и будто увеличенные рыжие камни.

Ясным осенним деньком клепал Митька под угором казанку, клал дюралевую заплату на пропитанную краской тряпку, и проходящий мимо дядя Толя рванулся, сунулся прямо в руки, в дрель, в краску, пробасил: «На сто, парень, садис? На краску? Сади на солидол — векове-е-ечно будет!» Митька рассмеялся, долго качал головой, мол, от старый, отмочит дак отмочит, и все чудилось, как протяжным и гулким эхом отдается это басовитое «Вэковэ-э-эчно!» по берегам и хребтам.

На охоту дядю Толю по старой дружбе забросил на вертолете охотовед, а Митька уехал, как обычно, на лодке-деревяшке. Ночью накануне отъезда шумно отходил толкач с баржой, светя прожектором, дул ветер, отползала бесформенная черная туча и за ней свежо сияло созвездие Медведицы. В сених темный замусоленный до блеска топорик со свежей полосой лезвия был воткнут в пол и, держась на самом уголке лезвия, казалось, висел в воздухе. На другой день груженная деревяшка стремительным кедровым носовилом, как бритвой, резала крученую дымчатую воду, распластывала сжатую плитами тугую, в продольных жилах, воду слива. У первой избушки Митька хватил винтом донного льда, и тот задумчиво всплыл зелеными хлопьями со влипшими камешками. Наутро кидал спиннинг, и подцепился таймешенок килограмм на семь, которого он подсек, с силой изломив удилище, но тот сорвался, веером рассыпав по воде розовую крошку губ. У последней избушки возле берега был ледяной припаяк, на который он с разгону залез лодкой. Лодка стояла косо, задеря нос, корма выдавалась в Бираму, собирая свежий ледок, и в кристальной воде неподвижно синел сапог мотора. Вечером у избушки Митька с пулеметным треском пилил дрова «дружкой» без глушителя, и в темноте свирепо бил рыже-синий выхлоп из круглого оконца и чудно озарял подстилку.

С дядей Толей они так ни разу не увиделись, только в одном месте на том берегу торчала в камнях свежая елка, и напротив нее в лесу темнел чум из рубероида.

Частенько он видел на той стороне Бирамы лыжню, выгоняющую дедов берег, но даже в крутых поворотах показательно избегающую Митькиной территории. Правда, когда Митька сел на «буран», дед сдал позиции и, экономя силы, ходил по готовой дороге. Митька оставил на воткнутой палке записку, мол, «че шарахашься, как чужой, заходи в избушку-то, хлеб в салафане». Тот раз зашел, но без него, оставив на нарах кружку с недопитой водой.

Вверху за Майгушашей, по которой проходила Митькина поперечная граница, была бывшая пилотская избушка, где и базировался дядя Толя. В устье у своего берега он наколол торосов и настроил печурок из прозрачных голубых льдин. Митька ехал в свою избушку на Майгушаше, а в печурке сидела живая норка, к которой Пестря, Митькин кобель, бросился стрелой и, вырвав из капкана, задавил рядом с печуркой. Митька подлетел на «буране», забрал норку и поехал за устье искать деда. Он гнал передутую дедову лыжню, реку все сильнее спиралью хребты, крутые каменные пабереги обрывались в бурлящие черные промоины, он бросил «буран» и пошел пешком. Уже стемнело, дул ветер, пробрасывало снежок, лыжню совсем задуло, и Митька нашел только бочки в тальниках. Он надеялся, что залает дедова собака, но та не лаяла, как потом оказалось, избушка стояла далеко в хребте. Митька отложил поиски на завтра и уехал вместе с норкой к себе в Майгушашу, а на следующее утро дед возьми да еще потемну уйди обратно вниз. Митька по утренней сини, с фарой, подъехал к устью и наткнулся на свежую лыжню: «От пенек шебутной! — выругался он, враз вспотев, — ведь теперь так и решит, что я у него норку из капкана спер! От позорище-то!»

Митька завернул норку и вместе с запиской повесил на высокую палку на устье Майгушаши. Камнем висела на душе эта проклятая норка, и, понимая, что не стоит она таких переживаний, он, чем больше старался о ней не думать, тем сильнее думал. Вернувшись из дальних избушек и выйдя на связь, он узнал, что дед, недовольный охотой, как раз в то утро убежал вниз к соседу-охотнику из Имбатска, откуда его через две недели вывезли вертолетом. «Значит, до деревни теперь», — с досадой подумал Митька, которого бросало в жар при мысли, что вот уже больше месяца дядя Толя считает его мелким вором. Ловя в прицел белку, с цепким топотком взмывшую по стволу листвени, или подходя к припорошенному, висящему в царском великолепии ворса соболю, он уже не радовался, а чувствовал только одно, что, как топор в сучкастой листвяжной чурке, все глубже увязает в этой дурацкой истории.

В деревне выяснилось, что уже дома дядю Толю хватил инфаркт и что он в больнице в Туруханске. Прилетел он перед Новым годом неморозным, серым днем, и Митька, выждав сутки, пришел к нему, прихватив снятую и оправленную норку. Дядя Толя с пергаментно-желтым лицом, на котором темно выделялись подстриженные усы, лежал под красным стеганым одеялом, выпростав руку с плоскими пальцами и фиолетовым еще в тайге ушибленным ногтем.

— Ну, ты как, дедка? — спросил Митька, порывисто сжав эту тяжелую, холодную, как рыба, руку.

— Парень, тязево, — сипло ответил дядя Толя и, переведа дыханье, кивнул сквозь стену, — Анисей-то, гляди, как закатало. И будто продолжая находиться где-то вне своего отказавшего тела, рассказал, как его прихватило «колотье так и хлестат», и как врач сказал после: «Хоросо, сто ты не зырный, ну не толстый в смысле, а то бы крыска».

Митька, внимательно кивая, выслушал, а потом вытащил из кармана норку и принялся объяснять:

— Дяа Толя. Короче, кобель, козлина, у тебя нагресил... — но дядя Толя не дослушал и только сделал лежащей на одеяле рукой-рыбиной слабый и далекий отпускающий жест... А когда Митька выходил на улицу, вытирая шершавым рукавом глаза, там уже всюю разворачивало на север, расплзались облака, открывая нежно-синее окно, на фоне которого торопливо неслись последние дымные нити какой-то другой близкой облачности, и на душе тоже легко и свободно было, будто движением дяди Толиной руки отпустилась не только эта злополучная норка, а все грехи его жизни.

Летом дядя Толя привез из Красноярска Галю, аккуратную и вежливо-осторожную пожилую женщину, с которой познакомился в больнице и которую не приняла только дочь Афимья, а все остальные говорили, что, конечно, поторопился дедка, но Феня две-над-цать лет разбитая пролежала, а ему тоже пожить охота. Вернувшись, дед в тот же день, организовав мужиков, стремительно стащил лодку с уже привинченным мотором, заправленным бачком и уложенным в ящик самолловом. Митька рыбачил с ним рядом и, высматривая самоллов, видел, как билась у деда под бортом, вздымая брызги, рыба. Полчаса спустя дядя Толя поднес ее к берегу, из мешка торчали два хвоста, и вдоль лодки, судорожно приоткрывая жабры, литым бревном лежал огромный осетер.

Под осень дядю Толю свалил второй инфаркт. Из больницы его привезли на «Лермонтове», под руки вели на угор, откуда с пристальным участием глядел народ. На полпути дядя Толя сел на камень и долго отдыхал, глядя в пустоту потухшими глазами. Недели через три он засобирился с Галей в Красноярск уезжать.

Вечером, за два дня до теплохода, он с аппетитом поел, а потом его вдруг стошнило. После укола дядя Толя сидел на табуреточке, сын и дочь поддерживали его за руки. Срывающимся голосом он крикнул: «так зыть хочу!» и заплакал, а через час умер, так никуда и не уехав. Наши бабы говорили: «Феня не пустила».